

Александр Грин

# Кирпич и музыка



Александр Грин  
**Кирпич и музыка**

«Public Domain»

1907

## Грин А. С.

Кирпич и музыка / А. С. Грин — «Public Domain», 1907

«Звали его – Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им, что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом...»

# Содержание

I	5
II	7
III	9
IV	10
V	12
VI	14

# Александр Степанович Грин

## Кирпич и музыка

### I

Звали его – Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом»<sup>1</sup> и «зимогором»,<sup>2</sup> он лениво объяснял им, что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волосы и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажой, пылью и салом.

Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной, бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские «князья»,<sup>3</sup> голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где, в жестяных котелках, пенился и кипел неизменный татарский «махан».<sup>4</sup> Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрещенным кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие, в трезвом виде, редко изменяло Евстигнею.

– Кончал твоя башка, Стигней! – говорили ему. – Пропадешь, как собака!

Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой, нехорошей улыбкой.

– Зачем так делил? – снова начинал противник Евстигнея, часто и хрипло дыша. – Мой закон такой, – твой закон другой... Чего хочешь?

Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил:

– Жрать я хочу, знаком, и боле никаких... Вопрос: кто ты? Ответ: арбуз. А это ты, знаком, слышал: Алла муллу чигирит в углу?

– Анна секим! – вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее, жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне.

Впрочем, он и сам не знал – зол он или добр. По воскресеньям, пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и «зимогоров», он громко икал, обливаясь водкой, нелепо таращил брови и говорил:

– Я – добер! Я – стр-расть добер! В сопатку, к примеру сказать, я тебя не вдарю – ты не можешь стерпеть... Другие, которые пером (нож) обходятся... Этого я дозволить, опять же, не могу... Если ты могишь совладать – завсегда в душу норови, пока хрип даст...

Пьяный, к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь, долго и грузно опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот «давал хрип», то есть попросту делался полумертвой, окровав-

---

<sup>1</sup> Галах (местн.) – пьяница, забулдыга.

<sup>2</sup> Зимогор (обл.) – бродяга, босяк.

<sup>3</sup> Уфимские «князья» – в дореволюционной России насмешливое прозвище татар.

<sup>4</sup> Лошадиное мясо.

ленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом.

Ночью, когда все затихало, и в спертom, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных бревенчатых стенах, рожденные горами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые, гладкие доски. А когда приходил час ночной смены и его будили сонные, торопливые руки рабочих, – подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные, черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.

## II

Наступал праздник; двенадесятый<sup>5</sup> или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шел на двор, черпал воду из водосточной кадки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому, каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и двадцать и тридцать лет. Потом надевал городской, обшмыганный пиджак, тяжелые, «приисковские» сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению – «гулять».

«Гулянье» происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем: Евстигней садился на крыльце трактира, рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба – он ругался; шли парни – он задевал их, смеясь их ругательствам, и ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке, – молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска; забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея.

– Стой, ядреная, стой! – кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабенке в ярком цветном платке. – Стой! Куда прешь!

– Вот пса посадили, слава те господи! – отвечала, вздыхая, баба. – Хошь вино-то цело будет... Лай, лай, собачья утроба!..

– Куда те прет? – кричал Евстигней. – В зоб-то позвони, эй! слышь? Зобари проклятые...

– Лай, лай, – дам хлеба каравай! – отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. – Зимогор паршивый! Галах!

– Валял я тебя с сосны, за три версты, – хохотал Евстигней. – Зоб-то подыми!..

Мужик, грызший семечки, или одобрительно ухмылялся даровому представлению, или говорил сонным, изнемогающим голосом:

– Охальник ты, пра... Мотри – парни те вышибут дно.

– Ого-го! – Евстигней тряс кулаком. – Утопнут!..

Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному, с гармониями в руках – он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым, пискливым голосом:

Ма-а-мынька-а р-роди-мая-а,  
Свишша-а неу-гасимая-а!..  
Когда-а свишша-а по-га-сы-нет,  
Тог-да д'милка при-ла-сы-не-ет!..<sup>6</sup>

И кричал:

– Чалдон!<sup>7</sup> Сопли где оставил?

Парни угрюмо, молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным, зловещим голосом:

– Ладно!

---

<sup>5</sup> Двенадесятый (слав.) – двенадцатый. Здесь один из 12 главных праздников православной церкви.

<sup>6</sup> «Маменька родимая, свеча неугасимая...» – слова из народной песни XIX века.

<sup>7</sup> Чалдон (обл.) – коренной житель Сибири.

Улица пустела, солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеобтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.



### Ш

Был вечер, и было тихо, жарко, и душно.

Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными, пышными волнами, как огромные шапки невидимых, подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими, гортанными голосами. Увлечшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблюжий крик.

Пужинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго, неподвижно слушал дикие, жалобные звуки, и затем осторожно ступая босыми ногами в колючей, холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыкнул слюной в сторону и сказал:

– Корова вот тоже поет. Слышь, князь? – Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных, глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной, мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал:

– Эй, вей-вей-ве-е! И-ий-вае-вае-у-у! Что вы кишки тянете из человека? Эй?!.

Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались: рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека или обратиться в шутку его слова. Наконец один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тубетейкой на голове, громко сказал:

– Ступай себе – чего хочешь? Не любишь – сам пой. Добром говорю.

– Христом богом прошу! – не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланяясь. – Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня – и ту...

Он не договорил, потому что вдруг встал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик и близко в упор подошел к Евстигнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал:

– Стигней, моя терпел! Месяц терпел, два терпел! Ступай!..

Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался:

– Анан секим! Ты што, – бритая посуда?!

– Слушай, Стигней! – продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. – Слушай, Стигней: я терпел, мольчал, долга мольчал... Ты знай: богом тебя клянусь, – пусть я помирал, как собака... Пусть я матери своей не увижу – если я тебя тут на месте не кончал... Слыхал? Ступай, Стигней, уходи...

Узкий, острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал – и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий, холодный пот. Он осунулся и тихо, оглядываясь, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок, и снова скрипучий, тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера.

## IV

Евстигней вышел со двора и часто, тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном, тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое, корявое дерево, а за ним черно; или – что до полочки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить.

Тьма совсем уже вошла в чашу, и становилось прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, бранчливые скучные выкрики. Тропа вела кверху, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнею за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, – это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверху синими, узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно.

И вдруг, откуда-то и, как показалась Евстигнею, со всех сторон, упали в тишину и весело разбежались мягкие, серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаше мягким, переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий, певучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину и, снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые, переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое, мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает.

Евстигней остановился, прислушался, подняв голову, и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени, он свернул с тропы и теперь грудью, напролом, шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался.

Это была широкая, темная поляна, и на ней, смутно белея во мраке, стоял новый, большой дом «управителя», как зовут обыкновенно управляющих на Урале. «Управителя» все считали почему-то «французом», хоть он был чисто русский, и имя носил самое русское: Иван Иванович. Окна в доме горели, открытые настежь, и из них выбегал широкий, желтый свет, озаряя густую, темную траву и низенький, сквозной палисад. В окнах виднелась светлая, просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелыми и спокойными, как громкая, хоровая песня.

Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на колья палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые, прыгающие руки тоненькой женщины в красивом, голубом платье, с высокой прической черных волос и бледным, детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялись и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу.

– Ишь ты! – сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные, тонкие руки женщины. Она все играла, и казалось, что от этих бегающих рук растет и ширится небо, вздыхая, колыхнется воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней навалился грудью на частокол, но дерево треснуло и закрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя

потушенной свечи, а к окну приблизилась невысокая, тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, висящей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что оно смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил:

– Кто там? Тут есть кто-нибудь?

Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами.

Евстигней откашлялся и сказал:

– Так что – проходя мимо... Мы здешние, с заводу...

– Что вам? – спросила женщина громче и тревожнее. – Кто такой?.. Что нужно?

– Я с заводу, – повторил Евстигней, ослабляясь. – Проходя мимо...

– Ну, что же? – переспросила она, уже несколько тише и спокойнее. – Идите, любезный, с богом.

– Это вы – на фортупьяне? – набрался смелости Евстигней. – Очень, значит, – того... Я... проходя мимо...

Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную, всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улынулись глаза, запрыгал подбородок и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растерянно и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал и насторожился мрак. Было сыро и холодно.

Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами, перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с ее темной, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала:

– Так, как же... Проходя мимо?

– То есть, – Евстигней развел руками, – я, значит, – шел... Слышу это...

– Ступай, любезный, – сказала женщина. – Ночью нельзя шляться...

Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядывая большой новый дом «француза» Ивана Иваныча, и пошел спать, а дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился: показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса – поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша, падали шишки, вздыхая, шумел лес.

## V

Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги, вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться.

Жар спадал, но воздух был еще ярок, душен и зноен. С утра Евстигней успел побывать везде: в церкви, откуда, потолкавшись минут десять среди поддевок, плисовых штанов и красных бабьих платков, вышел, задремавший и оглушенный ладаном, у забойщиков с соседнего прииска, где шла игра в короли и шестьдесят шесть, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших, крашенных пряников. Скука одолевала его. Послonyaвшись еще по улицам и запылив добела свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми, непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу, горящему, красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь.

Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими, грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми, возбужденными головами разговаривали наперерыв, не слушая друг друга. Сизый туман колебался вверху, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором, нестройно и пьяно пели «Ермака».

Евстигней остановился посредине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется – не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым, черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно потягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха.

– Как он-на-яво!.. – прыгали в ушах громкие, икающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнею. – Ты грит, сына своо куда девал? Снохач ты! А он-то, милая душа, без портов. Трусится... Ты сякая, ты такая... Не-ет! Стой! По какому праву? Где в законе указание есть?

– Го-го! – гоготал Евстигней. – Без портов? На что лучше.

– Как он-на... яво, то-ись! Пшел, хрен! Ха-ха-ха! Вот ведь что антиресно!

Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышались слова: «Как он-наяво... Вот ведь!»

Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание. Как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым, бессильным взглядом.

Кто-то сел рядом – один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что; ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки-глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными, зелеными волнами.

Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены; потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком:

– У-ы-ы! У-ы-ы! У-ы-ы!

Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал:

– Нажрался, сопля.

– А ты – татарская морда! – заявил Евстигней, смотря в угол. – Я нажрался... а ты, гололобый арбуз, м-мать твою растак!.. – И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хрястнуло что-то мягкое, кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло, бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо; застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и тихо, шатаясь и держась за голову, пошел прочь.

## VI

На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость за клубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкался, останавливался и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда в холодную, черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним, невидимое; он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя, медленным, черепашьям шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспokoйно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал:

– С-с ножом? Я-те дам нож! Махан проклятый!

Иногда чудилось, что кто-то бежит в кустах, невидимый, мохнатый, грозный, и дышит теплым, сырым паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки, останавливался, слушая смутный, далекий шорох, и снова двигался, с трудом, неловкими, пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес – он удивился и прислушался: ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий, протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал.

Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигней вежливо предложили уйти – тонуло в мраке и казалось пустым, черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые, пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного, и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая, слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату.

Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и встрепенулся: прямо из окна крикнули сердитым, раздраженным голосом:

– Кто там?!

– Эт-то я, – опомнившись, так же громко сказал Евстигней пьяными, непослушными губами. – Потому, к-как, я всеконечно пьян и не в состоянии... Предоставьте, значит, тово... Проходя мимо.

Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос; тоскливое, острое раздражение слышалось в нем:

– Коля! Да что же это такое? Тут бог знает кто шляется по ночам! Коля!

Дверь в соседнюю, блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная, тонкая фигура женщины. Евстигней крикнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны.

– Стерва! – взревел Евстигней. – Стерва! Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыданье, в гробовую плиту растак, перетак!

Лес ожил и ответил: «Гау-гау-гау!»

– Стервы! – крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать и подкосились, задрожав, ноги – сел, потом лег на холодную, мшистую траву и часто, быстро задышал, широко раскрывая рот.

– Стерва, сукина дочь! – сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигнея, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще – всего, чего у него никогда не было, нет и не будет.

Потом он уснул – пьяный и обессиленный, а когда проснулся, – было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую, росистую чашу. Струился пар, густой, розовый.

– Фортупьяны, – сказал Евстигней, зевая. – Вот те и фортупьяны! Стекла-то, вставишь, небось...

Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, размятая окоченевшие члены, и пошел туда, откуда пришел: к саже, огню и усталости. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.